

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

Письма к незнакомке

Перевод с французского А. КУЛИШЕР

Мериме был в расцвете молодости и славы (1831 г.), когда он получил первое письмо от особы, не пожелавшей назвать свое настоящее имя. Письмо с парижским штампом на конверте было написано на английском языке и содержало в себе ряд тонких и метких суждений о повести Мериме «Хроника времен Карла IX», которая вышла в свет в 1829 году и доставила автору шумный успех. Заинтригованный остроумием неизвестной корреспондентки, Мериме — к тому же и сам большой любитель мистификации — не замедлил откликнуться. Он ответил на письмо, и завязалась деятельная и оживленная переписка, которая длилась без малого сорок лет и оборвалась лишь со смертью Мериме. Последнее письмо, адресованное «незнакомке», было написано им за два часа до смерти, в октябре 1870 года.

Впоследствии удалось установить, что «незнакомку» звали Женни Дакен, что она была уроженкой Булонь-сюр-мер и много лет провела в Англии. Она пережила своего знаменитого друга на четверть века (умерла в 1895 году). В 1874 году она опубликовала письма Мериме, которые вышли в издании Мишель Леви в двух томах под названием «Lettres à une inconnue». Эти два томика сразу привлекли внимание читателей. Содержание этих полудобровных, полудружеских писем позволяло во многом раскрыть внутренний облик такого замкнутого писателя, каким был Мериме. Оно давало также большой материал для знакомства с историей нравов людей XIX века. Мериме много путешествует: в письмах он регулярно делится со своей корреспонденткой дорожными впечатлениями, воспоминаниями об интересных встречах, острыми наблюдениями над тем самым своеобразием человеческих характеров, в поисках которого он так жадно устремлялся за пределы Франции.

Светский человек, член двух академий, се-

натор при Империи, Мериме и в письмах сохраняет свойственный ему тон легкой иронии и насмешливой непринужденности. Он рассказывает забавные истории о важных академиках и лукаво дает легкие щелчки своим почтенным коллегам. Таким же лукавством дышит его рассказ о великой княгине Марии, дочери Николая I, которая, находясь в Биаррице и желая заставить Мериме прочесть у себя в гостинной его новый рассказ «Голубая комната», присылает за ним полицейского.

Но за легкой, веселой болтовней скрывается большая усталость и глубокое презрение писателя к своему веку и к современному обществу. С течением времени письма его становятся все мрачнее и все резче проявляется в них его отвращение к современной буржуазной жизни. «Как плоско и глупо время, в которое мы живем», — повторяет Мериме настойчиво и на протяжении многих лет. «Плоско и глупо» — вот за что главным образом ненавидел Мериме современную ему буржуазную жизнь, которую он находил бесцветной, бездарной, выродившейся и дряблой. Мериме не перестает зло иронизировать над всеми дутыми и высокопарными моральными заповедями буржуазии.

Литературные оценки, которые дает Мериме в своих письмах, во многом необычны и парадоксальны.

Это не относится, конечно, к суждениям о Тургеневе, творчество которого Мериме высоко ценил за ту правдивость и простоту, которая, по справедливому мнению Мериме, вообще свойственна русской литературе. О Пушкине, которого он, по свидетельству Тургенева, назвал величайшим поэтом эпохи, Мериме в одном из писем к Женни Дакен сказал: «Я нахожу у него великолепные вещи, все у него в моем вкусе, то есть в греческом, по правдивости и простоте»¹.

¹ «Литературное наследство», том XVI—XVIII, 1937 г.

Этой правдивости и простоты Мериме не находил у своих современников-французов. Мериме, выросший под влиянием отца, староника классического искусства, и матери, убежденной последовательницы идей просвещения, Мериме, друг Стендаля, близость с которым наложила — по собственному признанию Мериме — «отпечаток на его идеи», был прежде всего человеком разума, чуждым всякого преувеличения и неопределенности, чуждым всего абстрактного и далекого от ясной мысли.

Этот культ «логики» (в статье, посвященной памяти Стендаля, Мериме вспоминает, что Стендаль любил говорить: «Всеми нашими поступками должна руководить «логика») заставляет Мериме отрицательно от-

носиться к высокопарному красноречию писателей типа Ламартина, которому он дает такую суровую оценку в своей переписке.

Высказывания о Флобере, в частности о «Саламбо», которые мы находим в письмах, несомненно объясняются тем, что это произведение слишком резко противоречило эстетическим канонам Мериме. Мериме, не признававший за прозаиком права на украшения, на статические описания, на любование экзотикой, не принимал «Саламбо».

Что же касается того отношения к Гете, которое проявляется в письмах Мериме, то оно, несомненно, порождено тем же культом логики, в рамки которого не укладывался ни второй том «Вильгельма Мейстера», ни «Избирательное сродство».

М. Черневич

Париж, 24 октября 1842 года

Крайне любезно с вашей стороны держать меня в полном неведении относительно того, какую часть света вы ошастливили своим присутствием. Куда мне адресовать это письмо — в Неаполь, или в Н., или же в Париж? В вашем последнем письме вы сообщаете мне, что вскоре поедете в Париж, быть может в Италию, — и с тех пор никаких известий. Подозреваю, что вы здесь, и дадите мне знать об этом, когда снова будете в отъезде. Это будет highly in saeaster*. После того как я вам писал, я несколько дней путешествовал, а по возвращении нашел ваше письмо, помеченное числом, настолько уже давним, что я не считал возможным адресовать свой ответ в Н. К слову сказать, я восхищен тем, как вы, приглядываясь к крупным печатным буквам, научились совершенно самостоятельно читать греческую скоропись. С такими способностями вы, при некотором прилежании, станете второй мадам Дасье¹. Что до меня, то я уже не интересуюсь ни греческим, ни французским. Я опустил до состояния некоего ископаемого и, когда я читаю или пишу, буквы пляшут у меня перед глазами весьма неприятным образом. Вы спрашиваете меня, существуют ли греческие романы? Разумеется, существуют. Но на мой взгляд они очень скучны. Конечно, вы могли бы достать перевод «Теагена и Хариклея»² — романа, который так нравил-

ся покойнику Расину. Поглядите, придется ли он вам по вкусу. Имеется еще «Дафнис и Хлоя»³ в переводе Курье. Вещь нарочито наивная, даже весьма, и отнюдь не могущая служить образцом. Наконец, есть еще чудесная, но безнравственная, архибезнравственная новелла — это «Осел» Лукия⁴, переведенный все тем же Курье. Знакомством с этим произведением не хвастают, но это лучшее, что есть у Лукия. Теперь выбирайте сами, я ж умываю руки. Несчастье греков в том, что их воззрения на приличия и даже на нравственность сильно расходятся с нашими. В их литературе есть многое, что могло бы вызвать в вас негодование, иной раз даже отвращение, если б вы все это понимали. После Гомера вы вполне сможете читать трагиков, которые доставят вам удовольствие и которых вы полюбите, ибо у вас есть чувство прекрасного, то чувство, которым греки обладали в самой высокой степени и которое мы, harry few*, от них унаследовали. Если у вас хватит духу взяться за историков, вы придете в восторг от Геродота, Полибия и Ксенофонта. Геродот пленяет меня. Я никогда не читал ничего более занимательного. Начните с «Анабасиса или Отступления десяти тысяч греков»⁵, возьмите карту Азии и проследите по ней путь этих десяти тысяч прохвостов; это прямо исполненный Фруассар⁶. Затем вы прочтете Геродота и, наконец, приметесь за По-

* Совсем в вашем духе (англ.).

* Немногие счастливицы (англ.).

либия и Фукидида; оба последних очень нележки. Еще раздобудьте Феокрита и прочтите «Сиракузянок»⁷. Весьма рекомендую вам также и Лукиана, самого остроумного из греков, или, вернее, самого нам близкого по складу ума; но он, как известно, распутник, и я не смею настаивать. Вот вам три страницы о греках. Что касается произношения, если хотите, я пришлю вам памятку, собственноручно для вас составленную, которая преподаст вам самое правильное произношение, а именно: то, которого придерживаются современные греки. Произношение, которому учат в школах, — менее трудно, но нелепо.

В начале нашей переписки мы изощрялись в остроумии, затем стали изощряться — в чем же? Не буду вам об этом напоминать. А теперь мы изощряемся в эрудиции. Существует латинская поговорка, восхваляющая золотую середину; когда я сел писать, я намеревался наговорить вам немало неприятного и чрезвычайной кротостью этого письма, вы, несомненно, обязаны грекам. Это не значит, что я простил вам ваше неисправимое лицемерие; но, пока я писал, мое дурное расположение несколько рассеялось. Не жалеете, что не поехали в Италию, если только вы не там. Погода там стояла ужасающая — холод, дождь и так далее. Нет ничего более безобразного, чем страна, не привыкшая к этим двум бедствиям. Прощайте. Мне очень хотелось бы знать, где вы.

Раскрыв какую-то книгу, я нашел эти два цветка, сорванные у Фермопил, на холме, где погиб Леонид⁸. Как видите, своего рода реликвия.

Париж, 3 января 1843 года

Вот это чудесно! Эти речи мне по душе! Вы можете быть такой милой, когда захотите! Почему же вы часто стараетесь быть такой злой? Разумеется, благодарность, выраженная на бумаге, ничего не стоит, и вся та дипломатия, которую я употребил, чтобы доставить вам самые горячие рекомендательные письма для вашего брата, заслуживает, чтобы вы сказали мне что-нибудь очень любезное. Я согласен великодушно простить вам все насмешки, которыми вы осыпаете меня по поводу воздушных шаров и Академии, занимающей меня гораздо меньше, чем вы это утверждаете.



*Проспер Мери́ме
(Рисунок из собрания Любуа-Френель)*

Если когда-либо я стану академиком, то буду тверд, как скала, — не больше. Быть может, к тому времени я уже слегка съёжусь и ссохнусь, но, в сущности, останусь довольно покладистым малым. Что касается Персиани⁹, то единственный для меня способ превратить ее в своего Давида — это слушать ее каждый четверг. Что до мадемуазель Рашель¹⁰, то я не обладаю способностью наслаждаться стихами столь часто, как музыкой; она — Рашель, а не музыка — напомнила мне, что я обещал рассказать вам одну забавную историю. Сообщить ее вам здесь или приберечь до той поры, когда я вас увижу? Лучше напишу, для разговора у меня наверно найдется что-нибудь еще.

Итак, недели две тому назад мне пришлось обедать с ней у одного академика. Чтоб представить ему Беранже. Там было много великих людей. Она приехала поздно и мне не понравилось, как она вошла. При ее появлении все мужчины стали говорить ей столько глупостей, а женщины — столько их делать, что я остался в своем уголке. Впрочем, я ведь уже целый год не встречался с ней. После обеда Беранже с обычным своим прямодушием и рассудительностью сказал ей, что напрасно она расточает свое дарование в гостиных, что для нее есть лишь одна настоящая публика — та, что посещает Комеди Франсез и т. д. Мадемуазель Рашель как будто вполне согласилась

с этим назиданием и, дабы показать, что она его усвоила, выразила готовность сыграть первое действие «Эсфири»¹¹. Нужно было, чтобы кто-нибудь подавал ей реплики, и она поручила одному из академиков, исполнявшему при ней обязанности чичисбея со всей pompой, подать мне Расина. Я резко ответил, что ничего не смыслю в стихах и что здесь есть люди, которые постоянно занимаются этим делом и потому сумеют прочитать гораздо лучше. Гюго отговорился плохим зрением, еще кто-то нашел другой предлог. Хозяин дома принес себя в жертву. Представьте себе Рашель в черном платье, между фортепиано и чайным столиком, на фоне двери, принявшую театральную позу. Эта перемена, происшедшая на глазах у всех, была весьма занимательна и подлинно прекрасна; длилось это минуты две, затем она начала:

Элиза — это ты?..

Наперсница посреди своей реплики уронила очки и книгу; прошло минут десять, прежде чем она вновь обрела зрение и разыскала страницу. Аудитория замечает, что Эсфирь понемногу начинает злиться. Она читает дальше. Дверь позади нее открывается: входит слуга. Ему знаками приказывают удалиться. Он поспешно уходит, но никак не может закрыть дверь. Означенная дверь, будучи им задета, приходит в движение, сопровождая декламацию Рашели скрипом, весьма забавным. Так как конца этому не предвиделось, мадемуазель Рашель поднесла руку к сердцу и лишилась чувств, но в качестве особы, привыкшей умирать на сцене, проделала это так, что присутствующие успели притти ей на помощь. Во время этой интермедии Гюго и господин Тьер сцепились из-за Расина. Гюго утверждал, что у Расина ограниченный ум, а у Корнеля великий. «Вы это говорите, — ответил Тьер, — потому что у вас самого великий ум; вы — Корнель (Гюго строил отменно скромные мины) эпохи, для которой Расином является Казимир Делавинь»¹². Предоставляю вам судить, насколько здесь была уместна скромность. Тем временем артистка пришла в чувство и дочитала действие, но *fasccheggiando**.

* Через силу (итал.).

Кто-то из гостей, хорошо знавший мадемуазель Рашель, уходя, сказал: «Воображаю, как она кляла весь свет, когда ехала домой». Это замечание заставило меня призадуматься. Вот и весь мой рассказ; не выдавайте меня академикам, больше я вас ни о чем не прошу.

В воскресенье я узнал вас только когда оказался совсем рядом. Я хотел было подойти к вам, но, увидев, что вы не одна, пошел своей дорогой. Думаю, что я поступил правильно. Сколько помню, обычно вы бываете бледны, из чего я заключил, что румянец на ваших щеках был вызван торжественностью этого дня.

Добрый вечер или, вернее, доброе утро. Сегодня понедельник или, вернее, вторник. Уже три часа пополудни.

*Понедельник вечером,
1 июня 1852 года*

Я, не отрываясь, читаю переписку Бейля. И молодею по меньшей мере лет на двадцать. Я как будто анатомирую мысли человека, которого близко знал, и чьи взгляды на мир и людей сильно повлияли на мои собственные. От этих писем я в продолжение одного часа раз двадцать перехожу от веселья к печали, от печали — к веселью, и сильно сожалею о том, что сжег те письма, которые Бейль писал мне...

Мадрид, 25 октября 1853 года

Наша колония распалась, ибо герцогиня изволила разрешиться от бремени дочерью. Ее матушка день и ночь ухаживает за нею, а мы всем обществом возвратились в город. Дорогой я схватил отчаянный насморк, и в довершение моих бедствий поднялся еще жесточайший сирокко. Несмотря на дурную погоду и непрерывное чиханье, я вчера пошел смотреть Кухареса, лучшего матадора Испании после Монтеса. Быки были настолько плохи, что одного даже увели с арены, а многих пришлось дразнить горящими бандерильями. Двое участников были подняты на рога, целую минуту их считали мертвыми и это придавало хоть некоторый интерес бою, который иначе был бы совершенно непереносим. Теперешние быки утратили всякое мужество, да и люди не лучше их. Я намерен осуществить свою архе-

ологическую поездку, как только установится погода. Предсказывают бабье лето, которое, однако, все еще не наступает. Если бы вы пожелали дать мне какие-нибудь поручения, думаю, что ваше письмо успело бы притти во-время и я мог бы их выполнить. К несчастью, я до сих пор никак не пойму, что в этой стране есть хорошего. Я наудачу взял для вас носовые платки, очень некрасивого рисунка, но мне помнится, что вы с большой охотой завладели точно таким же платком, который, не знаю как, попал ко мне. Здесь теперь все одеваются на французский лад. Вчера на бое быков некоторые дамы были в шляпках. Не нужно ли вам подвязок и пуговиц? Если их еще носят, сообщите мне, что именно вам подходит, но не медлите ответом. Я читаю или, вернее, перечитываю «Вильгельма Мейстера». Странная книга, в которой прекраснейшие вещи чередуются с самым нелепым ребячеством. Все, что создал Гете, являет причудливую смесь гениальности и немецкой благоглупости; непонятно, над чем он насмехается: над собой или над другими? Напомните мне, когда я вернусь, дать вам прочитать «Избирательное сродство». Мне кажется, что из всего, что написал Гете, эта вещь самая странная и самая чуждая французскому духу. В письме из Парижа мне расхваливают книгу Александра Дюма-сына, которая называется «Разрыв» или что-то в этом роде. В Мадриде ничего не читают. Я не раз спрашивал себя, что делают здешние дамы, когда они не заняты любовью, но пока не нашел удовлетворительного ответа. Все они мечтают стать императрицами. Какая-то барышня, уроженка Гранады, узнав во время спектакля, что император женится на графине Теба, стремительно поднялась со своего места — она сидела в ложе — и воскликнула: *En ese pueblo, no hay parvenir**.

В числе своих развлечений я забыл упомянуть вам об Академии исторических наук, членом которой я состою. Она почти так же забавна, как наша. Прощайте.

Париж, 8 сентября 1857 года

В то время, как вы предаетесь восторгам, я кашляю и жестоко страдаю от сильнейшей простуды. Надеюсь, вы

* В этой стране нельзя выдвинуться (исп.).

не останетесь равнодушной к этому. Не понимаю, чего ради вы провели целых три дня в Люцерне, если только вы не катались все это время по озеру. Но бесполезно давать вам советы, ведь они дойдут до вас слишком поздно. Единственное, что я вам советую, в надежде, что вы послушаете меня, — это не забывать в прекрасной стране, где вы путешествуете, своих французских друзей. В Париже нет ни души, но это одиночество не лишено приятности. Я провожу вечера в праздности и не слишком при этом скучаю. Если б я не был в самом деле болен, эта тишина очень бы мне нравилась, и я желал бы, чтобы она длилась круглый год. Ваши дорожные восторги, вероятно, крайне забавны, и я очень жалею, что не могу быть свидетелем их. Если бы вы устроили свои дела немного искуснее, мы смогли бы встретиться в дороге и совершить одну-две прогулки, поглядеть на серн или хотя бы на черных белок. Если бы болезнь не мешала мне настолько, что я даже не могу связно изложить две мысли кряду, я бы использовал ваше отсутствие для работы. Я должен выполнить обещание, данное *Revue de deux Mords*. и, кроме того, написать «Жизнь Брантома», где намерен высказать множество дерзновенных истин. Пока что я просто подолгу их обдумываю; но когда нужно решиться на то, чтобы расстаться со своим креслом и сесть писать, у меня нехватает силы воли. Мне очень жаль, что вы не взяли с собой книгу Бейля об Италии: она развлекла бы вас в пути и дала бы вам кое-какие сведения об итальянском обществе. Он питал особую любовь к Милану, ибо там он пережил сильное увлечение. Я хоть и не был там никогда, но никогда не мог заставить себя дружественно относиться к тем миланцам, которых мне приходилось встречать и которые всегда производили на меня впечатление провинциальных французов. Если вам случится найти в Венеции старую латинскую книгу, какую — безразлично, отпечатанную в типографии Альдов, с широкими полями, и если она не слишком дорога, купите ее для меня. Вы узнаете ее по особому курсиву и по знаку, на котором изображены единорог и причудливо извивающийся дельфин. Боюсь, что в таком многолюдном обществе вы вряд ли станете мне писать. Все же вам следовало бы

время от времени дарить меня известиями о себе и учить меня терпению, ведь вы знаете, что я не обладаю вашими добродетелями. Прощайте, веселитесь, старайтесь увидеть как можно больше прекрасных вещей, но не задавайтесь целью перевидать все. Нужно сказать себе: «я еще вернусь сюда». И того, что вы увидите, вполне хватит, чтобы давать пищу воспоминаниям. Мне очень хотелось бы покататься с вами в гондоле. Еще раз прощайте; главное — берегите себя и не утомляйтесь.

*Лондон, British Museum**,

3 мая 1858 года

Полагаю, что буду в Париже в среду утром.

В минувшую среду я попал в довольно забавную переделку. Я был приглашен на обед Literary fund**, под председательством лорда Пальмерстона, и когда уже надо было туда ехать, меня предупредили, что мне придется произнести речь, ввиду того, что мое имя будет упомянуто в тосте в честь литературы континентальной Европы. Я примирился со своей участью — но можете представить себе, как мне это было приятно, — и в продолжение четверти часа с лишним на скверном английском языке говорил глупости собранию, состоявшему из трехсот литераторов или притязавших на это звание, да еще сотни дам, удостоенных чести созерцать, как мы вкушаем пережаренных цыплят и жесткий язык. Как говорил господин де Пурсоньяк¹³, я никогда еще не был так по горло сыт глупостью.

Вчера меня посетила какая-то дама со своим мужем; они принесли мне подлинные письма императора Наполеона к Жозефине. Письма эти продаются. Они чрезвычайно любопытны, ибо речь в них идет исключительно о любви. Подлинность их несомненна, о ней свидетельствуют и бумага, и почтовые штемпеля. Но для меня непонятно, как Жозефина, прочтя такое письмо, не сжигала его тут же

Венеция, 18 августа 1858 года

Вы бродите по горам и забавляетесь непристойными сравнениями Монблана с головой сахару, а я тем временем

выбиваюсь из сил, разыскивая для вас раковины. В жизни не видел ничего более уродливого, чем то, что везу вам. По всей вероятности, их отберут на одной из многочисленных таможен, через которые мне придется пройти, или же они разобьются в дороге. Меня эта мысль радует, ибо впервые человеку со вкусом дали подобное поручение.

Венеция возбудила во мне чувство грусти, от которого я никак не могу избавиться вот уже две недели. Приглядываясь к архитектуре венецианских дворцов, бьющей на эффект, но лишенной вкуса и фантазии, я с негодованием вспоминал все избитые фразы, которые говорят по этому поводу. Каналы очень похожи на Бьевру*, а гондолы — на погребальные дроги, весьма неудобные.

Картины, находящиеся в Академии, понравились мне: я имею в виду произведения второстепенных художников. Здесь нет ни одного Паоло Веронезе, который мог бы идти в сравнение с «Браком в Кане», ни одного Тициана, который стоил бы дрезденского «Христа с пенязем», или хотя бы парижского «Венчания терниями». Я тщетно искал полотно Джорджоне¹⁴. В Венеции нет ни одной картины его кисти. Зато мне нравится здешнее простонародье. Улицы кишат очаровательными девушками, босоногими, простоволосыми, которые, если бы их выкупать и умастить благовониями, стали бы не хуже Венеры-Анадиомены. Неприятнее всего на меня действует запах, который стоит на улицах. Последние дни всюду жарили оладьи, это было совершенно невыносимо. Я присутствовал на довольно забавном Funzione** в честь эрцгерцога. Его чествовали серенадой от самой Пьяцетты до Железного моста. Шестьсот гондол, в том числе и моя, следовали за огромной лодкой, где сидели музыканты. На всех гондолах светились большие фонари, а на некоторых жгли бенгальские огни, красные и синие, бросавшие волшебный отсвет на дворцы, окаймляющие Канале Гранде. В особенности интересно проходить под Риальто. Гондол скопляется множество. Никто не хочет ни податься назад, ни уступить дорогу. И потому в течение по крайней мере часа с четвертью все про-

* Британский музей (англ.).

** Литературного фонда (англ.).

* Небольшой приток Сены

** Действо (итал.).

странство между Палаццо Лоредано и Риальто превращается в сплошной мост, совершенно неподвижный. Стоит только между кормами двух гондол образоваться щели, шириною хотя бы в ладонь, как туда сейчас же вклинивается третья. Ежеминутно раздается треск обшивки, иногда даже ломаются весла. Любопытно, что во всей этой давке, которая во Франции превратилась бы во всеобщую свалку, не услышишь не только ни одного бранного слова, но даже возгласа нетерпения. Этот народ вскормлен на молоке и маисе! Я видел сегодня, как посреди площади святого Марка какой-то монах припал к ногам австрийского капрала, который его задержал. Более плачевного зрелища нельзя себе представить, и это происходило там, где высится лев святого Марка! Я дожидаюсь здесь приезда Паницци¹⁵. Изредка бываю в обществе. Бегаю по библиотекам, провожу время довольно приятно. Вчера я видел здешних армян, очень красивых мальчиков, которые, узрев сенатора, преобразились в армян константинопольских. Они подарили мне эпическую поэму, написанную одним из отцов их церкви. Прощайте; по всей вероятности, я буду в Генуе первого сентября, в Париже — наверняка в октябре, а в Вене — как только получу известие от вас. Последние четыре-пять дней я чувствую себя сносно. Около двух недель мне сильно нездоровилось. Еще раз прощайте.

Генуя, 10 сентября 1858 года

Приехав сюда, я нашел здесь ваше письмо от 1-го, за которое благодарю. Вы не упоминаете о письме, посланном мною из Брешии в последних числах того месяца. В нем я сообщал, что покинул Венецию с сожалением и что непрестанно о вас думал. Озеро Комо мне понравилось. Я остановился в Белладжио. В довольно красивой вилле на берегу озера я вновь увидел госпожу Паста, которую встречал в ту пору, когда она была красой и гордостью итальянской оперы. Она необычайно растолстела. Живет мирной сельской жизнью и уверяет, что так же счастлива, как в те дни, когда ее забрасывали венками и бонетами. Мы беседовали о музыке, о театре, и она высказала ту, поразившую меня своей правильностью мысль, что со

времен Россини не было создано ни одной оперы, в которой наблюдалось бы единство, отдельные части которой были бы спаяны между собой. Все то, что делают Верди и ему подобные, напоминает костюм арлекина.

Погода чудесная, сегодня вечером отходит пароход в Ливорно. У меня сильное искушение провести неделю во Флоренции. Вернусь я через Геную, а оттуда, по всей вероятности, проеду по Карниш*. Но если там окажутся письма, требующие моего срочного возвращения, я, пожалуй, выберу путь на Турин и через тридцать часов буду в Париже. Во всяком случае, я жду вас там к первому октября. Сооблагодолите не забыть об этом, иначе мне придется поехать за вами на песчаные ваши отмели. Вы ни словом не упоминаете о Гренобльском шпинате и о пятидесяти трех способах его приготовления, известных в Дофине. Жив ли там еще кто-нибудь, кто знал Бейля? Я получил однажды довольно остроумное письмо, где сообщались о нем разные забавные истории; оно было написано человеком, имя которого я запомнил, но который, если не ошибаюсь, состоит церемониймейстером императорского двора. Некогда в провинции еще встречались острословы, например, во времена президента де Бросс¹⁶. Теперь там не найдешь ни одного мыслящего человека. Железные дороги еще усугубляют отупение. Я убежден, что через двадцать лет все разучатся читать...

Париж, 24 октября 1860 года

Дорогой друг, я получил ваше письмо от 15-го. Я несколько запоздал с ответом, потому что гостил в деревне у двоюродного брата, где днем гулял, а по вечерам играл в трик-трак. Одним словом, предавался лени. Благодарю вас за описание нравов, но к ним сплошь нужен комментарий и иллюстрации, особенно в части, относящейся к танцам туземных женщин: судя по всему, это, должно быть, несколько напоминает танцы гитан в Гранаде. По всей вероятности, замысел тот же самый, и мавританки изображают те же переживания. Не сомневаюсь, что какой-нибудь араб, уроженец Сахары, глядя, как вальсируют в Париже, пришел бы к выводу, что

* Карниш — приморская дорога из Генуи в Ниццу.

француженки также разыгрывают пантомиму, и был бы недалеко от истины. Когда проникаешь в глубь явлений, всегда обнаруживаешь одни и те же первоначала. Вы могли убедиться в этом, изучая со мною мифологию. Я решительно не принимаю робости ваших объяснений. В вашем распоряжении имеется достаточно эвфемизмов, чтобы вы обо всем могли мне сказать, ваша же манера преследует лишь одну цель — заставить себя просить.

Итак, в следующем вашем письме извольте смириться. Должен сказать вам, что мне с каждым днем становится хуже. Я уже начинаю примиряться с этим, но грустно чувствовать, что стареешь и мало-помалу умираешь. Вы просите меня объяснить вам нынешнюю неразбериху! Скромные у вас желания! К несчастью, никто ни в чем ничего не понимает. Прочтите сегодняшней номер «*Constitutionnel*». В нем интересная и инспирированная статья Лагероньера¹⁷. Суть ее в следующем: «Я не могу одобрить, когда нападают на людей, которые никому не причинили зла; но, с другой стороны, меня совершенно не интересуют те, кого таким образом обездоливают, и я не желаю, чтобы им помогали иначе, как советами». Вчера я ездил в Сен-Клу¹⁸, где завтракал почти-что наедине с императором, императрицей и «господином сыном», как выражаются в Лионе; все в добром здравии и прекрасном расположении духа. Я долго беседовал с императором, преимущественно о древней истории и о Цезаре. Меня изумляет легкость, с которой он усваивает вещи, имеющие отношение к науке, а ведь он лишь сравнительно недавно всем этим стал интересоваться. Императрица сообщила мне любопытные эпизоды из своей поездки на Корсику; тамошний епископ рассказал ей о бандите по имени Бозьо, чья история как будто списана с «Коломбы». Очень славный парень, который по наущению женщины совершил два или три маловажных убийства. Уже несколько месяцев его разыскивают, но безуспешно: арестовали женщин и детей, заподозренных в том, что они носили ему пищу, но схватить его никак не удается. Никто не знает, где он. Императрица, читавшая известный вам роман, заинтересовалась этим человеком и сказала, что была бы очень рада, если бы ему дали возможность покинуть остров и отправиться в Африку или какую-либо другую страну, где он

мог бы стать хорошим солдатом и порядочным человеком. «Ах! Ваше величество, — воскликнул епископ, — вы разрешите дать ему знать об этом?» — «Как? Ваше преосвященство! Значит вы знаете, где он находится?» Как правило, на Корсике самый отпетый негодяй всегда состоит в родстве с самым порядочным из людей. Очень изумлялись они тому, что несметное число раз у них просили всяческих милостей, но денег — ни разу; и неудивительно, что императрица в восторге от поездки.

Свидание в Варшаве закончилось совершенным фиаско; австрийский император сам «напросился в гости» и был принят с той учтивостью, которую выказывают назойливым посетителям. Ничего существенного там не было достигнуто. Австрийский император хотел дать понять России, что если Австрии угрожает опасность со стороны Венгрии, то у России ведь имеется Польша, на что Горчаков ответил: «У вас одиннадцать миллионов венгерцев, а вас, немцев, три миллиона. Нас, русских, сорок миллионов, и мы без всякой посторонней помощи можем образумить шесть миллионов поляков. Следовательно, взаимного страхования нам не требуется».

Мне кажется, что со стороны Англии наступило некоторое успокоение и что она, возможно и даже вероятно, начнет заигрывать с нами, с целью достичь общей политической линии по отношению к Италии. Если это осуществится, война, я полагаю, станет невозможной... Прощайте, дорогой друг; я думаю вскоре отправиться в Канны. В Марселе, где я буду около середины ноября, я дам посылку, вам предназначенную, в контору пароходного общества. Сообщайте мне подробно о нравах и не бойтесь возмутить меня этим. Берегите свое здоровье и не забывайте обо мне.

*Биарриц, вилла Евгения,
27 сентября 1862 года*

Дорогой друг, я все еще пишу вам в Н..., хотя ничего не знаю о ваших переездах; но мне думается, что вы еще не собираетесь возвращаться в Париж. Если — и, надеюсь, я не ошибся — у вас стоит такая же погода, как у нас, вы, наверно, пользуетесь ею и не слишком спешите в Париж вдыхать запахи асфальта. Я здесь, на берегу моря, и дышу сейчас так легко, как давно

уже не дышал. Баньерские воды вначале сильно мне повредили; мне говорили, что это хороший признак и свидетельствует о сильном действии, которое они оказывают. И подлинно: стоило мне только покинуть Баньер, как я словно возродился; морской воздух, а, быть может, и августейшая кухня, которой я здесь пользуюсь, окончательно меня излечили. Надо вам сказать — ничего отвратительнее кухни отеля Н... в Баньере представить себе нельзя, и я начинаю думать, что нас с Паницци там в самом деле пытались медленно отравить. На вилле немного народа и все приятные люди, которых я давно знаю.

В городе тоже нелюдно, особенно мало французов, — преобладают испанцы и американцы. По четвергам — приемы, во время которых уроженцев Северной Америки приходится отделять от уроженцев Южной, из опасения, как бы они не перегрызлись. В эти дни все одеты по-парадному. В остальное время туалеты никого не заботят; дамы выходят к обеду в закрытых платьях, а мы, представители прекрасного пола, — в сюртуках; ни во Франции, ни в Англии нет замка, где царил бы такая свобода, такое забвение этикета, и где хозяйка выказывала бы своим гостям столько внимания и доброты. Мы совершаем прекраснейшие прогулки по долинам, окаймляющим Пиренеи, и возвращаемся с чудовищным аппетитом. Море, обычно в этих местах бурное, вот уже неделю как изумительно спокойно; но это все же ничто по сравнению со Средиземным морем, в особенности с Каннской бухтой. Дамы, приезжающие сюда на купальный сезон, неизменно проявляют немало странностей в выборе своих туалетов. Здесь находится некая мадам Н... Цвет лица — настоящая репа, одевается во все голубое, а волосы пудрит. Это, как уверяют здесь, должно означать, что она посыпает голову пеплом, ввиду несчастий своего отечества. Несмотря на прогулки и обильную еду, я все же потихоньку работаю. Я написал, частью в Биаррице, частью в Пиренеях, больше половины тома. Опять — повесть о казацком герое (Богдане Хмельницком), которую я предназначаю для «*Journal des Savants*»*. Кстати, по поводу литературы: читали ли вы речь Виктора Гюго, которую он произнес в Брюсселе на

обеде бельгийских книготорговцев и прочих мошенников? Как жаль, что этот милейший малый, у которого в распоряжении сколько угодно прекрасных образов, лишен малейшей рассудительности и той целомудренной сдержанности, которая воспрепятствовала бы ему говорить все эти пошлости, недостойные порядочного человека! В его сравнениях, которые он дает, говоря о туннеле и железной дороге, больше поэзии, чем во всех книгах, прочитанных мною за последние пять-шесть лет; но, в сущности, все это — одни лишь образы. Здесь нет ни глубины, ни обоснованности, ни здравого смысла; человек упивается собственными словами и уже не дает себе труда мыслить.

Двадцатый том Тьера мне нравится, так же, как и вам. Я полагаю, было невероятно трудно извлечь что-нибудь путное из всего этого огромнейшего вороха разговоров на острове святой Елены, сообщенных Лас Казом¹⁹, и Тьер превосходно с этим делом справился. Мне нравятся также его суждения и те параллели, которые он проводит между Наполеоном и другими великими людьми. Он проявляет некоторую строгость по отношению к Александру и Цезарю; однако есть много справедливого в том, что он говорит об отсутствии у Цезаря добродетели. Здесь эта книга очень в ходу и я боюсь, что героем чересчур уж увлекаются. Так, например, историю с Никомедом отвергают, что делаете и вы, как мне кажется.

Прощайте, дорогой друг; будьте здоровы и поменьше жертвуйте собою для других, потому что люди слишком к этому привыкают, и то, что сегодня вы делаете с удовольствием, вам, быть может, придется когда-нибудь выполнять через силу.

Еще раз прощайте.

Канны, 5 декабря 1862 года

Дорогой друг, я приехал сюда в перерыве между двумя наводнениями и целые четверо суток мне казалось, что уже нет на свете солнца, даже в Каннах. Когда в этих краях начинает лить дождь, это дело нешуточное. Равнина между Каннами и Эстерелем превратилась в озеро, нельзя было носа высунуть на улицу. И все же во время этого потопа воздух был легкий, мне приятно было дышать. С тех пор, как я страдаю одышкой, я так же чувстви-

* «Газета ученых» (франц.).

телен к воздуху, как римляне чувствительны к воде. К счастью, непогода прекратилась. Три дня тому назад снова засияло солнце, с тех пор я живу при открытых окнах и мне, пожалуй, даже слишком жарко. Если бы не мухи, я совсем бы забыл о жизненных невзгодах.

Перед тем, как уехать из Парижа, я побывал у знаменитого врача, ибо после возвращения из Компьена мне начало казаться, что здоровье мое очень плохо, и я хотел узнать, через сколько времени мне придется позаботиться о своем собственном погребении. В общем я остался доволен его консультацией: во-первых, он сказал мне, что этот торжественный обряд совершится не так уж скоро, как я того опасуюсь; во-вторых, он, на основании анатомических данных, очень вразумительно объяснил мне причину моих недугов. Я думал, что у меня большое сердце; отнюдь нет — больны легкие. Правда, я никогда не излечусь от своей болезни, но могу не страдать от нее, а это уж очень много, если не главное.

Вы не можете себе представить, как прекрасны здешние места после этих ливней. Повсюду изобилие ранних роз. Зацветает жасмин и множество полевых цветов, одни других краше; я охотно прошел бы с вами курс ботаники в здешних лесах; вы убедились бы, что они ничуть не хуже лесов Бельвю. Мне прислали сюда, уж не знаю — почему, последнюю книжку господина Гюстава Флобера, того, что написал «Госпожу Бовари» — вещь, которую, как мне думается, вы читали, хотя и не пожелали в этом признаться. Я полагаю, что у него есть талант, который он под предлогом реализма растрчивает попусту. Он только что соделал новый роман, озаглавленный «Саламбо». В любом другом месте, кроме Канн, всюду, где для чтения нашлось хотя бы «Руководство по кулинарии», я не раскрыл бы эту книгу. Действие происходит в Карфагене, за несколько лет до второй Пунической войны. Путем чтения Буйе²⁰ и кое-каких компиляций того же типа автор набрался некой мнимой учености и сочетает это с лиризмом, который является подражанием худшим сторонам Виктора Гюго. Некоторые страницы, без сомнения, вам понравятся, ибо вы, по примеру особ вашего пола, любите высокопарность. Я же, ненавидящий ее, впал в ярость. С тех пор, как я здесь, в частности, со времени дождей, я про-

должал сочинять свою рацею о казаках. Боюсь, как бы она не вышла чересчур длинной. На этих днях я пошло в Париж вторую статью, а затем, надеюсь, и другие. Я обнаружил, что не взял с собой карту Польши, и я затрудняюсь писать польские названия, имея под рукой одну лишь русскую их транскрипцию. Постарайтесь узнать, если возможно, не есть ли случайно город, русское название которого Львов, то же, что Лемберг в Галиции. Вы мне окажете этим большую услугу. Прощайте, дорогой друг, я надеюсь, что зима не слишком сурово обходится с вами и что вы стараетесь не заболеть насморком. Ваша маленькая племянница все так же мила? Не балуйте ее чрезмерно, дабы она впоследствии не была слишком несчастна. Мне очень хотелось бы также, чтобы вы посмотрели пьесу моего друга Ожье и без утайки сказали мне, что вы о ней думаете.

Еще раз прощайте.

Канн, 12 января 1864 года

Дорогой друг, приехав сюда, я заболел и едва ли не серьезно. Я вывез из Парижа отчаянный насморк, и всего лишь два дня, как начинаю приходить в себя; не знаю, что бы со мной сделалось, если б я остался в Париже при том снегопаде, который, судя по газетам, у вас не прекращается. Здесь чудесная погода; лишь изредка облачно, почти никогда не бывает меньше 14 градусов. Порою западный ветер приносит нам снежную пыль, подхваченную им на Альпах, но мы все же пребываем в благословенном оазисе. Рассказывают, будто всюду кругом выпал снег. В Марселе, в Тулоне, даже в Иере все покрыто им. Представляю себе марсельца в снежную погоду! Вероятно, он похож на кошку, которую пустили на лед, нацепив ей на лапки ореховую скорлупу. Даже в Каннах не запомнят такой прекрасной, теплой зимы.

Я в восхищении от того, что Аристофан имел счастье вам понравиться. Вы спрашиваете меня, присутствовали ли афинские дамы на театральных представлениях? Некоторые ученые говорят, что да, другие — что нет. Если б вы, когда были на Востоке, пошли смотреть Карагеца²¹, то, по всей вероятности, вы увидели бы там много женщин. На Востоке в настоящее время, как и некогда в древности, не зна-

Париж, 5 ноября 1866 года

ют и не знали той чрезмерной стыдливости, которую вы, женщины, проявляете в наши дни. На каждом шагу попадались мужчины, почти что голые, а изваяния богов, стоявшие на всех перекрестках, давали дамам преувеличенное представление о естестве мужчины. Как называется та комедия, в которой Еврипида наряжают женщиной? Понятна ли вам мизансцена и роль скифского стража? Самое необычайное во всем этом — та развязность, с которой Аристофан говорит о богах, да еще в день, им посвященный, ибо «Лягушки», где Вакх играет такую странную роль, были сыграны в театре в праздник Диониса. То же самое происходило в первые времена христианства. В церквях давались представления. Отправлялись обедня глупцов и обедня ослон, текст этих обеден сохранился в рукописи, чрезвычайно любопытной. Все испортили нечестивцы своими сомнениями. Когда все были верующими, все было дозволено. Кроме глупостей, которые Аристофан, словно крупную соль, рассыпает в своих комедиях, в них есть хоры, являющие собой прекраснейшую поэзию. Высокочтимый мой учитель, г-н Буассонад²², говорил, что Аристофан непревзойден никем из греков. Советую вам, если вы еще не читали «Облака», прочитать их. На мой взгляд, это лучшая из всех его комедий, дошедших до нас. Диалог Правды и Кривды, имеющийся в ней, — превосходнейшего стиля. Я полагаю, что есть доля истины в тех упреках, которые он делает Сократу; даже прочитав Платона, хочется оправдать кубок с ядом. Человек, подобно Сократу доказывающий людям, что они просто животные, вреден.

Я убеждаюсь, что заговоры возобновились. Я не сомневаюсь в том, что эти бесноватые итальянцы и не менее бесноватые поляки собираются поджечь весь мир; и, к несчастью, мир так глуп, что не станет им препятствовать. Я получил из Италии письма, дающие мне основание опасаться, как бы весной добровольцы и Гарибальди не вторглись в Венецианскую область. Чтобы нас доканать, нам нехватает только этого! Прощайте, дорогой друг, я стараюсь как можно меньше думать о будущем. Будьте здоровы, вспоминайте иногда обо мне. Придумали ли вы что-нибудь к 14 февраля, дню святой Евлалии? Еще раз прощайте.

Неужели мы и впрямь уподобимся Кастору и Поллуксу, которые никогда не могут в одно и то же время появляться на небосклоне? Я вернулся несколько дней тому назад. Сходил на парижскую почту, а сейчас пришел оттуда и начну укладываться; мне необходимо уехать, ибо первые холода пренеприятным образом дают себя знать, и я начал кашлять и задыхаться.

Помимо удовольствия, которое мне доставила бы встреча с вами, я рассчитываю прочитать вам одну свою вещь. В бытность мою в Биаррице зашла речь о затруднительных положениях, в какие может попасть человек, как это случилось, например, с Родриго²³, вынужденным выбирать между своим папашей и Хименой, или с мадемуазель Камиллой, очутившейся между братом и возлюбленным своим Куриацием. Ночью, не будучи в состоянии уснуть после чересчур крепкого чая, я написал полтора десятка страниц о положении подобного рода²⁴. В сущности, все это высоконравственно, но есть некоторые детали, которых монсеньор Дюпанлу²⁵ не одобрил бы. Имеется также некая ложная предпосылка, необходимая для развития действия: два лица разного пола вместе останавливаются в гостинице, — неслыханная вещь, но мне без этого нельзя было обойтись, — а рядом с ними происходит нечто весьма странное. Думаю, что это отнюдь не самое худшее из всего, что я написал, хотя и было набросано впопыхах. Я прочел эту вещь радушной хозяйке. В то время в Биаррице находилась великая княгиня Мария, дочь Николая, которой я был представлен несколько лет тому назад. Мы возобновили знакомство. Вскоре после этого чтения ко мне явился полицейский и заявил, что он прислан великой княгиней. — Чем могу служить? — Я пришел от имени ее императорского высочества просить вас притти к ней сегодня вечером с вашим романом. — Каким романом? — Тем, который вы на-днях читали ее величеству. — Я ответил, что имею честь состоять придворным шутком ее величества и не могу без ее разрешения выступать в других домах; и тут же побежал рассказать об этом императрице. Я ожидал, что это вызовет по меньшей мере войну с Россией, и ощутил досаду, когда мне не только разрешили, но даже попросили пойти вечером к

великой княгине, к которой полицейский был приставлен в качестве фактума. Однако же, чтобы облегчить свою душу, я написал великой княгине письмо довольно язвительного свойства и предупредил ее о своем посещении. Я пошел отнести письмо в гостиницу, где она остановилась; дул сильный ветер, и в безлюдном переулке мне повстречалась женщина, которой грозила опасность быть унесенной в море, ибо ветер, неистово раздувая ее юбки, гнал ее перед собой, и которая, ослепленная и оглушенная треском своего кринолина и всем тем, что за этим следовало, находилась в величайшем затруднении. Я поспешил ей на помощь; мне с большим трудом удалось ее отстоять, и только тогда я узнал великую княгиню. Этот порыв ветра избавил ее от нескольких легких эпиграмм. Впрочем, она держала себя по отношению ко мне очень милостиво и угостила меня превосходным чаем и папиросами, ибо она курит, как почти все русские дамы. Ее сын, герцог Лейхтенбергский, очень красивый юноша, похожий на немецкого студента, показался мне, как я уже писал вам, славным малым, чуточку республиканцем и социалистом и в придачу к тому же нигилистом, подобно тургеньскому Базарову, ибо в наше время титулованные особы находят, что республиканский образ правления недостаточно быстро распространяется.

Прощайте, дорогой друг; отвечайте мне сюда, но только немедля. Вам не избежать чтения моей новеллы. Что вы скажете о зрелище, являемом наводнениями? Вы могли созерцать его во всей его широте. Поздравляю вас с тем, что вы не утонули. Один из моих друзей два дня просидел почти что не евши, страшась, как бы его дом не растаял у него под ногами, словно кусок сахара. Еще раз прощайте.

Париж, 27 сентября 1867 года

Дорогой друг, что же вы поделываете? Я давно уже не имею известий от вас. Только что осуществил предерзкое начинание: провел три дня в деревне у двоюродного брата в окрестностях Арпажона и это не слишком мне повредило, хотя местность показалась мне сырой и холодной; но мне думается, в настоящее время нет таких краев, где было бы тепло. Полагаю, что в Н. вас постоянно окружают туманы.

Я провожу время как могу, в совершенном уединении; иногда у меня является желание поработать, которое однако же минует так быстро, что не успевает к чему-либо привести. Вдобавок, я пребываю в грустном расположении духа. Мне кажется, что у меня что-то неладно с глазами. Мне и хочется, и страшно пойти показаться Либрейху; если я потеряю зрение, что тогда со мной будет?

Есть на свете некий князь Августин Голицын²⁶, который перешел в католичество и не слишком силен в русском языке. Князь перевел роман Тургенева, под названием «Дым», и печатает его в «Correspondant»^{*} клерикальной газете, которую он вместе с другими лицами финансирует. Тургенев поручил мне держать корректуру. Надо вам сказать, что в этом романе есть вещи довольно смелые, которые повергают Голицына в полное отчаяние. Так, например, — неслыханная вещь! — выведена русская княгиня, влюбленная и, что еще усугубляет ее вину, нарушающая супружескую верность. Он вычеркивает те места, которые чрезмерно его огорчают, а я восстанавливаю их по подлиннику. Иногда он, как вы это сейчас увидите, чересчур щепетильничает. Княгиня позволяет себе в Баден-Бадене притти к своему возлюбленному в отель. Она входит в его комнату, и на этом рассказ обрывается. В русском тексте он возобновляется словами: «Два часа спустя Литвинов сидел у себя на диване». Новображенный католик переводит: «Спустя час Литвинов сидел один в своей комнате». Как видите, это гораздо более нравственно, ведь убавить один час — значит наполовину уменьшить грех. Помимо того, комната вместо дивана звучит гораздо добродетельнее: ибо диван может служить для предосудительных действий. А я, непоколебимо верный полученным указаниям, я восстановил и два часа, и диван; но главы с этими эпизодами не появились в «Correspondant» от этого месяца. Думаю, что почтенные мужи, стоящие во главе журнала, наводят строжайшую цензуру. Это меня очень забавляет. Если роман и дальше будет у них печататься — там есть превосходная сцена, гораздо более значительная, чем диван: когда героиня топчет кружевную косынку, — вот тут-то я их поддену! Прощайте, дорогой друг, дай-

^{*} «Корреспондент» (франц.).

те мне знать о себе. Быстрота, с которой приближается зима, наводит на меня ужас.

Париж, 2 сентября 1868 года

В бытность мою в Фонтенебло со мной приключилась странная вещь. Мне пришла мысль написать новеллу для радушной нашей хозяйки, иными словами — отблагодарить ее за гостеприимство какой-нибудь безделицей. Там я не удосужился ее дописать; здесь я сочинил конец, в котором, боюсь, будут некоторые длинноты. Но самое странное то, что я, едва только закончил эту новеллу*, принялся за другую; рецидив этой болезни юных лет меня пугает. Похоже на то, что я впадаю в детство. Разумеется, все это не предназначено для публики. Когда я гостил в замке, там читались потрясающие современные романы, авторы которых мне совершенно неизвестны. Моя новелла написана в подражание этим господам. Действие происходит в Литве, стране, очень хорошо вам знакомой. Там говорят на почти безукоризненном санскритском языке. Некая знатная литовская дама во время охоты имеет несчастье быть схваченной и унесенной медведем, лишенным всякого чувства сострадания, отчего она навсегда теряет рассудок, что, однако, не мешая ей произвести на свет здорового мальчугана, который с годами становится обворожительным молодым человеком; однако же он страдает приступами черной меланхолии и проявляет необъяснимые причуды. Его женят, и в первую же брачную ночь он живьем съедает свою жену. Вы, зная уже тайные пружины действия, поскольку я сам показал их вам, конечно догадаетесь, почему случилось так. Дело в том, что этот господин — незаконный сын того самого медведя. *She invenzione prelibata*** Прошу вас, не откажите сообщить мне ваше мнение о моей новелле.

Я чувствую себя не слишком хорошо, и мне советуют поехать в Монпелье, снова проделать там курс лечения сжатым воздухом. По всей вероятности, вы не застанете меня в Париже, если не вернетесь до первого октября. Я оставляю вам роман «Дым»,

* Речь идет о новелле, которая впоследствии была напечатана под заглавием «Локис».

** Какая прекрасная выдумка! (итал.).

который я уже целую вечность храню для вас. Я не знаю, что поделывает его автор; последнее время он находился в Москве, где страдал подагрой и работал над историческим романом. Я очень жалею, что, будучи проездом в Булони, не видел аквариума, о котором вы мне пишете. Ничто меня так не забавляет, как рыбы и морские звезды. Вчера я обедал у Сен Бева, который очень меня заинтересовал. Несмотря на жестокие страдания, он все же очаровывает своим остроумием. Это несомненно приятнейший из собеседников, каких мне только довелось встречать. Он очень встревожен успехами клерикалов и близко принимает это к сердцу. Мне кажется, что опасность грозит не с этой стороны...

Прощайте, дорогой друг, пишите мне, и не так размашисто, а то на строку приходится всего три слова. Сообщите мне вполне чистосердечно ваше мнение о выдумке с медведем.

Париж, вторник, 29 сентября 1868 года

Дорогой друг, хорошо уже и то, что чтение моей новеллы вас не утомило. Неужели вы сразу не догадались, что мой медведь — самый что ни на есть неотесанный медведь. Во время чтения я отлично видел по вашему лицу, что мое толкование вы отвергаете. Приходится мне, следовательно, обсудить ваше. Неужели вы думаете, что читатель, менее робкий, чем вы, поверит этой бабьей сказке о порче? Поверит, что от одного только взгляда медведя бедная женщина лишилась рассудка, а ее сынок родился с кровожадными инстинктами? Все будет сделано так, как вы того пожелаете. Ваши советы всегда приносили мне пользу; но на этот раз вы злоупотребляете своим правом.

В будущую субботу я уезжаю в Монпелье. Надеюсь до того дважды или трижды попрощаться с вами.

Канны, 16 ноября 1868 года

Дорогой друг, я сильно хворал и хвораю еще сейчас. Вдыхания, принесшие мне столько пользы в прошлом году, не могли вылечить меня от бронхита, который сменил мою астму и ничуть не лучше ее. Вот уже шесть недель, как я кашляю и задыхаюсь, и самые разнообразные снадобья, которые я принимаю с великим терпением и покорностью, недостаточны, чтобы

вернуть меня к привычному мне образу жизни. Теперь я выхожу только в самую жаркую погоду. Сплю очень плохо и провожу время в обществе blue devils*. Особенно сильно я страдаю и мучаюсь по ночам. Если я так расклеился еще до наступления зимы, что же будет со мной, когда придут настоящие холода? Вот мысль, которая сильно меня тревожит. Все же, последние три-четыре дня я чувствую себя немного лучше.

В бессонные свои ночи я тщательно переписал «Искателя меда» (Локис), внося те переделки, которые вы мне посоветовали и которые, кажется, послужили на пользу моей новелле. Вопрос о том, дерзнул ли медведь посягнуть на древнюю родословную, остается невыясненным. Однако же люди, столь же сообразительные, как вы, поймут, что произошло нечто весьма серьезное. Я послал новеллу в нынешнем ее виде господину Тургеневу для проверки местного колорита, который меня несколько смущает. Беда в том, что ни он, ни я не сумели раздобыть литовца, который знал бы свой язык и свою страну. У меня было желание послать эту вещь императрице ко дню ее ангела; но я устоял против этого искушения и хорошо сделал. Бог

* Дословно — синие черти, хандра (англ.).

знает, что случилось бы с медведем среди Компьенского общества. Погода у нас стояла не очень хорошая, и хоть было и не холодно, и не ветрено, настоящих солнечных дней выпало немного. Я приехал сюда две недели тому назад. Все остальное время я провел в Монпелье, где скучал жестоко.

Бедняга Россини умер; говорили, будто он за последние годы много писал, но ничего не хотел выпускать в свет; мне это всегда казалось маловероятным. Денежные соображения, игравшие для него большую роль, несомненно побудили бы его издать новые свои композиции, если б он действительно создал что-нибудь. Это был один из самых остроумных людей, каких я когда-либо встречал; нет ничего более восхитительного, нежели ария Севильского цирюльника в его собственном исполнении. Ни один актер не мог с ним сравниться. Этот год, повидимому, несчастный для великих людей. Говорят, Ламартин и Беррье²⁷ оба опасно больны. Прощайте, дорогой друг, пишите мне и уезжайте как можно скорее из того сырого края, где вы сейчас находитесь. В провинции нет теплых домов.

Если вы знаете какую-нибудь занимательную книгу, пожалуйста, сообщите мне об этом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Анна Лефевр Дасье (1651—1720) — французская эллинистка, переводчица «Илиады» (1699) и «Одиссеи» (1708) на французский язык.

² «Теаген и Хариклея» — эротический роман Гелиодора (2-я половина III века н. э.) о приключениях эфиопской царевны Хариклеи и фессалийца Теагена.

³ «Дафнис и Хлоя» — известный пасторальный роман Лонга.

⁴ «Осел» — эротический роман Лукия (II век н. э.).

⁵ «Анабасис» — сочинение греческого историка Ксенофонта. Описание похода 10 000 греков.

⁶ Жан Фруассар (1338—1404) — автор хроник, дающих яркое изображение Франции XIV века.

⁷ «Сиракузянки или праздник Адониса» — одно из лучших произведений Феокрита (III век до н. э.).

⁸ Фермопильское ущелье — горный проход, ведущий из Фессалии в Среднюю Грецию. Мериме подразумевает здесь героическую защиту Фермопил в 480 г. до н. э. 7 000 греков под командой царя Спарты Леонида от столысячного войска персов.

⁹ Фанни Перснани (1818—1867) — известная певица.

¹⁰ Рашель (1820—1858) — знаменитая французская драматическая актриса.

¹¹ «Эсфирь» (1688) — трагедия Расина.

¹² Казимир Делавинь (1793—1843) — французский поэт и драматург.

¹³ «Господин де Пурсоньяк» (1669) — комедия-балет Мольера.

¹⁴ Джорджоне (1478—1511) — художник венецианской школы, ученик Беллини.

¹⁵ Антонио Паницци (1797—1879) — известный библиотечарь, хранитель печатных книг Британского музея. Друг Мериме, много лет состоявший с ним в переписке.

¹⁶ Шарль де Бросс (1709—1777) — французский историк, президент бургундского парламента.

¹⁷ Луи Этьен Лагероньер (1816—1875) — французский публицист и политический деятель.

¹⁸ Сен-Клу — замок, резиденция Наполеона III.

¹⁹ Эммануил Лас Каз (1766—1842) — французский историк; сопровождал Наполеона на остров св. Елены. Здесь речь идет о книге Лас Каза «Записки с острова св. Елены» («Mémorial de Sainte-Hélène»).

²⁰ Мари Никола Буйе (1798—1864) — известный французский составитель словарей.

²¹ Карагёз — главная фигура турецкой народной комедии марионеток, нечто вроде Петрушки или Полишинеля.

²² Жан Франсуа Буассонад (1774—1857) — известный французский эллинист.

²³ Мериме подразумевает здесь «Сида».

²⁴ Речь идет о новелле Мериме «Голубая комната», опубликованной только после смерти Мериме (в 1871 г.).

²⁵ Феликс Антуан Филибер Дюпанлу (1802—1878) — епископ Орлеанский, клерикальный писатель, член Французской академии.

²⁶ Августин Петрович Голицын (1824 — 1875) — писатель и переводчик. Автор ряда трудов по истории России. Писал преимущественно на французском языке.

²⁷ Антуан Беррье (1790—1868) — известный французский адвокат, легитимист.